NOBILES



18+

СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

Лидия Морис

Лидия Морис

NOBILES. ЕГО ПОДОБИЕ

«Автор»
2026

Морис Л.

NOBILES. ЕГО ПОДОБИЕ / Л. Морис — «Автор», 2026

101 — та, кто считает удары. 88 — тот, кто их наносит. Вместе они — счет, который не кончается.Это не романтика. Это голод. Два человека жрут друг друга заживо и кончают в процессе. Не от любви. От ненависти.

© Морис Л., 2026
© Автор, 2026

Содержание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 5
ПРОЛОГ 6
ГЛАВА 1. «ПАРАДНЫЙ ВХОД В ПРЕИСПОДНЮЮ» 8
ГЛАВА 2. «МЯСНАЯ УТОПИЯ» 19
Конец ознакомительного фрагмента. 28

Лидия Морис
NOBILES. ЕГО ПОДОБИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дорогие читатели.

Перед вами художественное произведение в жанре дарк-роман.

В книге содержатся:

— упоминания наркотических веществ;

— нецензурная лексика;

— жестокие сцены насилия, в том числе описание убийств;

— сцены сексуализированного насилия.

Автор не оправдывает действия и поведение героев. Автор показывает мрачную сторону реальности и её влияние на персонажей.

История может показаться эмоционально тяжёлой и провокационной. Так и задумано.

Пожалуйста, будьте бережны к себе во время чтения. Если темы насилия, зависимостей, сексуальных натуралистичных сцен могут негативно отразиться на вашем эмоциональном состоянии — не читайте.

ПРОЛОГ

Посвящается тем, кто научил меня считать. Я досчитала до конца. Теперь ваша очередь.

Они видели во мне жертву — сломленную, жалкую, ту, что должна была тихо сдохнуть в углу, скуля и благодаря за каждый удар.

Система проебалась. Эти выблядки не заметили, как в мёртвой тишине вызревало нечто куда хуже жертвы. Оно росло из меня — медленно, криво, с мясом. Я чувствовала, как оно скребёт изнутри, и не могла остановить. Больно было так, что я перестала различать, где кончаюсь я и где начинается оно.

И тогда я начала считать. Не чтобы спастись — чтобы хоть что-то оставалось под моим контролем. Пусть даже цифры. Они не держали, но пока я считала, оно не могло забрать всё. Потому что считала ещё я.

Я сбивалась, начинала заново, снова сбивалась — и всё равно считала. Считала их удары, до последнего, пока тело держало, пока хватало дыхания. На пятом — в тот раз — сбилась, захлёбываясь своей же кровью. Сплюнула — но не на пол. В них. И продолжила считать, улыбаясь окровавленным ртом. Потому что боль — это ещё не конец. Конец — это когда перестаёшь считать.

А потом я перестала считать их удары. Начала считать свои. Шаг. Вдох. Ещё один. Один способ выжить, второй, третий. Считать их было бесполезно, они не кончались. Считать себя оказалось оружием: каждый шаг был моим, каждый вдох — моим, и никто не мог их отнять. Так я и собрала себя заново — не в один день, а по одному счёту.

Человек не рождается монстром. Он выковывает его из собственной плоти, шаг за шагом, сдирая с себя человечность, как старую прогнившую кожу, и с каждым таким шагом сам забивает ржавый гвоздь в крышку гроба, где лежит всё, что могло бы его спасти. Методично, без дрожи в руках. Я выбрала это — и обратного пути нет.

Не существует «добрых» людей — есть лишь те, кто ещё не решился перейти черту. Стоит содрать с них фальшивую маску добродетели, и наружу полезет вся их гниль. Тогда остаётся только один вопрос: кто ты, сука, на самом деле?

И вот тут я поняла, что дело не в боли и не в страхе. Дело в бездне. Она смотрит в упор, и ей уже всё ясно. Лекарства нет, прощения нет, покоя нет. Есть только то, что ты сама вырастила внутри — болью, унижением и ненавистью. Оно уже в крови, в каждой клетке. Яд, который не вывести.

Я выбрала считать в семнадцать — не в порыве и не от отчаяния, а холодно, трезво, до последней детали. Я разобрала себя до винтиков, выбросив всё, что могло жалеть, и собрала заново — как оружие, как инструмент. Как то, что больше не умеет останавливаться.

Здесь, на острове, джунгли жрут быстрее, чем люди: за ночь от тела остаётся только запах. Я знаю это, потому что видела собственными глазами и считала, сколько времени нужно, чтобы от человека осталось ничто.

Сердце я вырвала, тепло сожгла, уязвимость сдала под подпись. Остался расчёт, сухой, как плесень в лёгких. А жалость я переплавила в желание смотреть, как уже они хрипят, давясь собственной кровью.

Голос в голове больше не уговаривал — он констатировал, как патологоанатом, который уже вскрыл и теперь просто диктует:

«Ты включила режим жёстче. Добро пожаловать вниз. Твой следующий противник — ты. Та, которую ты годами хоронила в помойной яме своей души. Тень, которую ты боишься увидеть в зеркале. Хватит отворачиваться. Прими эту гниль. Или сдохни, пытаясь убежать от собственной совести».

Я не сдохла. Я выбрала то, что жрёт меня изнутри, — и сделала шаг. Вниз.

Я не собираюсь мстить. Я собираюсь жрать. Жрать этот мир живьём, пока не останется только кровь и тишина, в которой больше некому будет скулить.

И тогда я сяду рядом. И послушаю. Как затихает последнее дыхание.

ГЛАВА 1. «ПАРАДНЫЙ ВХОД В ПРЕИСПОДНЮЮ»

«Когда живёшь в аду достаточно долго — перестаёшь быть человеком. Остаётся существование. В любых стенах, в любых условиях, как дома. Не жизнь — присутствие. Но и его можно переплавить в свой огонь. Из любого ада можно сделать свой: тот, где все остальные горят из-за тебя, а ты греешься.»

Одриана Блэквуд

Везли меня без памяти. В голове остались запах бензина и его одеколон — дед душился так, будто ехал на похороны. На этот раз, пожалуй, не прогадал.

Потом был мешок. Грубая ткань, пыльная, пропитанная чужим потом. Когда её сдирали, она проехалась по лицу, как наждак, вместе с клоком волос. Свет ударил в глаза — белый до рези, — я зажмурилась, потеряла верх и низ. В лёгкие врезался воздух: свежий, солёный, с привкусом океана. Такой чистый, что я задохнулась, будто меня держали под водой и наконец вытащили. Успела увидеть воду — синюю и слишком спокойную для этого места, — а потом жара обрушилась сверху, тяжёлая и плотная, и воздух, только что лёгкий, стал густым и неподвижным.

Двое выволокли меня на берег, поставили на ноги. Я бы упала, если бы хомут на запястьях не дёрнули вверх. Меня выгнуло, я встала на носки, в плечах что-то хрустнуло, и я услышала этот звук раньше, чем боль. Песок обжигал босые ступни, как битое стекло. Я переступила с ноги на ногу — и только тогда ощутила, что что-то не так. Не страх. Что-то ниже страха, в теле, чему я ещё не знала названия.

Катер разворачивался, оставляя за кормой белую пену. Я видела её сквозь резь в глазах — мутно, расплывчато, как через запотевшее стекло, — и не отводила глаз, потому что смотреть было больше некуда. Берег пуст: песок, камни, джунгли. Ветер шевелил волосы на лице, солнце припекало плечи. Когда катер ушёл, стало так тихо, что я услышала, как где-то в глубине острова кричит птица. Одна. Как я. Только у неё есть право голоса. И только потом до меня дошло, что вместе с катером ушёл запах солярки, который до этого перебивал даже океан.

Сюда не ходят паромы и не летают самолёты, даже с экскурсиями. Это не то место, куда приходят по своей воле. Этот остров называют Croft's Sink — ад, у которого есть название. Я была наслышана о нём от деда, который, отправляя меня сюда, будто делал одолжение, и каждый раз повторял как мантру: «Там тебе понравится. Там все свои. Такие же отбросы». Он говорил это так, будто сам там был. И судя по тому, как он отводил глаза, — был.

Только здесь его не было. И никто не собирался делать одолжение. Меня поволокли.

Не повели — поволокли. Один дёрнул за хомут так, что плечи вывернулись назад, я потеряла равновесие и упала лицом в песок, горячий, как зола, и крупный, который набился в рот, в нос, под веки. Я попыталась подняться, но второй схватил меня за волосы и рванул вверх. Кожа на черепе натянулась так, что казалось, сейчас оторвётся вместе с волосами, и я закричала — не от боли, от неожиданности. И сразу же получила по затылку. Не сильно, но так, что в глазах потемнело.

Они тащили меня по песку, то дёргая за хомут, то перехватывая за волосы. Я пыталась переставлять ноги, но песок уходил из-под ступней, и я снова падала. Колени обдирались о камни, попадавшиеся под песком, кожа на ладонях и коленях сдиралась слоями. В какой-то момент я перестала считать, сколько раз меня уронили. Им это, кажется, нравилось.

На катере запястье уже горело, но я списала это на хомут — руки были зафиксированы так, что немело всё. Тогда было не до этого. А сейчас запястье начало гореть не от хомута, а изнутри, как будто под кожу залили расплавленный металл. Меня начало раздражать. Не боль — боль я могла терпеть. Раздражало то, что я не понимала, что именно горит: хомут, кожа под ним или что-то ещё. Я вывернула руку, насколько давали связанные за спиной запястья, и

увидела на внутренней стороне, у самого сгиба, свежий ожог. В кожу были выжжены цифры: 101. Я не помнила, когда это сделали. Последнее, что помнила, — дед, его лицо, люди с оружием, которые заталкивали меня в машину по его приказу, а дальше провал.

Я продолжала смотреть на это убожество на руке. Надо отдать им должное: хоть цифры получились ровные. Если бы я выбирала себе клеймо, я бы выбрала что-нибудь покрасивее — хотя бы с завитушками.

— Это что за хуйня? — сказала я, и голос был хриплый, чужой.

Один из охранников, тот, со шрамом через всё лицо, от виска до подбородка, глянул на моё запястье, потом в сторону.

— Че блять, слепая? Это клеймо. Твой номер. Имя у тебя было — теперь нет. Теперь есть только номер, и запомни его, потому что другого у тебя не будет… даже на могиле.

Я хотела сказать что-то ещё — не знаю что, просто хотела, чтобы последнее слово осталось за мной, — но не успела. Охранник отпустил мой подбородок и ударил не пощёчиной, а кулаком в челюсть. Голова мотнулась так, что шея хрустнула, и я услышала этот звук раньше, чем почувствовала боль. Губа лопнула о собственные зубы, рот наполнился горячим, и я машинально сглотнула, потому что дышать через нос уже не могла.

Он не остановился: схватил меня за подбородок, вдавливая пальцы в челюсть, и повернул моё лицо к себе. Похож на наёмника — возможно, одна из дедовых шавок: жестокий, на привязи, смотрит так, будто я не человек, а кусок мяса, который велели доставить по адресу.

— Скажу один раз, вбей себе в голову: здесь не открывают рот, когда хотят. Открывают только те, кто хочет сдохнуть быстрее. А ты, сука, пока не хочешь. Я вижу.

Он перешагнул через меня, даже не посмотрев, — видимо, смотреть на меня для него было слишком много чести. Я лежала на песке лицом вниз, чувствуя, как кровь из губы капает на песок и песчинки прилипают к мокрому, и думала: вот бы выжечь ему эти блятские цифры на языке и отрезать его в качестве сувенира. Затем кто-то дёрнул хомут, и меня поволокли дальше. Я не сопротивлялась, просто двинулась следом. Мы шли молча, только песок хрустел под ногами.

Скоро под ступни легли камни, и один резанул пятку — не сильно, но достаточно, чтобы я зашипела. А следом и они сменились грязью, мягкой и тёплой, которая чавкала под ногами и засасывала ступни, так что с каждым шагом я выдёргивала их с усилием. В ней что-то шевелилось, мелкое, и я старалась не думать об этом; ноги сами выскакивали быстрее, чем я успевала приказать им идти. Кровь с губы смешивалась с этой жижей. Камешки впивались в открытую рану на подбородке, забивались под ногти на босых ногах.

Дальше были джунгли. Я узнала их раньше, чем увидела, — по густой, сладковато-гнилой вони, от которой сводит желудок. Влажность обрушилась сверху, плотная и жаркая, воздуха не хватало, и я дышала открытым ртом. Ветки хлестали по лицу, по плечам, по затылку, оставляя тонкие влажные полосы, и я материлась сквозь зубы, потому что ладони были заняты, а лицо не спрячешь. Эти мудаки шли впереди и сзади, я — между ними, сбежать было бы проблематично. Да и куда? В море? Так я и плавать не умею. Сдохнуть на дне океана я всегда успею.

Под ногами предательски хлюпало, корни вылезали из земли, как пальцы, я спотыкалась, меня дёргали за хомут, плечи горели так, что я не чувствовала пальцев, а голова шумела ровно и низко, как далёкий прибой. Где-то впереди орала обезьяна, и её крик был похож на детский плач — я сначала даже дёрнулась, а потом поняла, что это не ребёнок. Облегчение пришло с другой стороны — меня вырвало.

Желудок подкатил к горлу, я успела подумать «только не сейчас», и меня согнуло пополам. Вывернуло прямо на грязь, на собственные босые ноги, а руки были за спиной — ни отвернуться, ни прикрыть рот. Рвота была горячая, кислая, она стекала по подбородку, по шее, за воротник, и я стояла, согнувшись, и слышала, как они смеются. Не просто смеются — ржут, как кони, громко, с присвистом, и один из них сказал:

— Во, бля. Только этого не хватало. Смотри, как её развезло.

Я стояла, согнувшись, лоб упирался в колени, меня выворачивало снова и снова, пока внутри не осталось ничего, кроме горечи. Тогда я наконец разогнулась — медленно, потому что голова кружилась так, что земля уходила из-под ног. Рвота осталась на губах, на подбородке, и я не могла вытереть её, потому что руки были за спиной. Я чувствовала, как она сохнет на коже и стягивает, как будто кто-то намазал мне лицо клеем и забыл снять.

— Харе, блять, — сказал один из них. — И так с тобой долго возимся. Ещё немного, и я сам тебя придушу, чтобы не воняла.

Он достал из кармана плоскую флягу, открутил крышку и плеснул мне в лицо виски — резкий, спиртовой, он обжёг кожу и залился в глаза. Я успела зажмуриться, но всё равно почувствовала, как спирт въедается в ссадины на губе и в открытую рану на подбородке. Если бы я не закрыла глаза, ослепла бы к чёртовой матери. Я стояла, зажмурившись, и чувствовала, как виски стекает по лицу, смывая рвоту и кровь, как он смотрит на меня и ухмыляется.

— Вот. Теперь хоть пахнешь как человек. Почти.

Мы шли, ноги не слушались, и наконец-то джунгли кончились. Свет резанул снова — серый, плоский. Я зажмурилась, открыла глаза и увидела его: «NOBILES».

Огромное здание торчало из джунглей, как зубной протез, который забыли вынуть перед погребением: светлый камень, стекло под золото, герб прикручен на совесть, а подсветка даже днём била снизу, вылизывая стены так старательно, что здание выглядело вымытым до костей. Оно стояло в зарослях, а за ним поднимались скалы и туман, и выглядело это настолько нелепо, что я на секунду подумала: может, я всё ещё под мешком и это бред. Потому что так не бывает — в таком месте должно быть что-то старое, гниющее, а не это. Это, блядь, произведение архитектурного тщеславия, памятник самому себе, который кто-то поставил здесь, чтобы все видели, какой он великий.

Я стояла уже не в грязи, а на идеальной белоснежной плитке — босая, с песком, въевшимся в ссадины, с рвотой на подбородке, с кровью на губе, с виски, стекающим по шее, — и в голове было пусто и гулко. Плитка вела к зданию, ровная и вымытая, и мои грязные ноги оставляли на ней следы, как на чистом листе. Тот, со шрамом через лицо, сказал:

— Шевелись. Не через парадное пойдём, там таких, как ты, не ждут.

— Красавица. — Он тянул слова, смакуя каждое. — Ну что, новая жизнь начинается. Добро пожаловать. Не боись. Тут хорошо: кормят, поят, спать укладывают. — Ухмылка стала ещё шире. — Правда, некоторым потом уже не хочется ни есть, ни пить, ни дышать. Но это уж как повезёт. А ты, я смотрю по глазам, везучая.

Он знал, что меня ждёт, и ему было насрать.

Он подтолкнул меня в бок, и мы обогнули здание. Парадный вход остался позади — стеклянные двери, золотой герб, ковровая дорожка, вылизанная до блеска, и ступени, широкие, как взлётная полоса. Но мы шли вдоль стены, и я считала шаги, потому что смотреть было не на что: камень, камень, камень, ровный и светлый, без единого шва, как декорацию. Стена кончилась, мы свернули в узкий проём, такой неприметный, что я бы прошла мимо и не заметила — ни вывески, ни таблички, ни даже ручки на двери. Щель в стене, за которой начиналась темнота.

В темноте кто-то стоял. Я не сразу разглядела — только силуэт, широкий, как холодильник, и запах пота, табака, подвала.

Он шагнул вперёд, и свет из проёма упал ему на лицо: бритый череп, гладкий, как яйцо, ни шрама, ни татуировки — ничего, что можно было бы запомнить. Шея вросла в плечи так, что голову будто прикрутили наспех и забыли приварить. Одет он был в обычный мед костюм: мятый, цвета застиранной бирюзы, с пятном на груди, алым и аккуратным, будто его нанесли по трафарету. Если это была кровь, то он, по крайней мере, не пытался её оттереть — а значит,

ему было насрать. Где-то ниже груди болтался бейджик: «Броунд». Что это было — фамилия, имя или кличка, — хер его знает.

— Пошли, — сказал Броунд; голос низкий, без интонации, как у человека, который повторяет одну и ту же фразу по сотне раз на дню и давно перестал вкладывать в неё смысл.

Санитар толкнул дверь плечом, она открылась без скрипа, будто петли только что смазали, и внутри было холодно: после жары джунглей холод ударил по коже так, что я поёжилась. Коридор был длинный, узкий, с бетонным полом и лампами на потолке, которые горели через одну, отчего казалось, что мы идём по пунктиру: свет, темнота, свет, темнота. По стенам тянулись трубы, толстые, обмотанные какой-то серой тканью.

Теперь нас было двое: санитар впереди, я сзади, и хомут, который он держал в руке, так что металл натягивался при каждом его шаге и впивался в запястья всё ожесточённее. Те двое остались у двери, я не оборачивалась. Мы прошли мимо двери с надписью «Персонал», мимо ещё одной, без надписи вообще, мимо щитка с проводами, который гудел так, что у меня заложило уши, и мои шаги были единственным звуком, кроме этого гула.

Потом коридор кончился, и мы упёрлись в лифт: бронзовые двери, мягкий свет, зеркало в полный рост, чтобы гости видели, какие они чистые, и кнопка «-1» без подписи — не «подвал», не «техэтаж», минус один, будто ниже нет ничего, там кончается здание и начинается то, чему не положено названия. Но панель была не пустой: под «-1» было ещё две кнопки, без цифр и без букв, гладкие бронзовые кружки, будто кто-то стёр надписи, чтобы никто не знал, куда они ведут.

Санитар втолкнул меня внутрь и занял половину кабины, хотя был не толстый, а просто от него самого было тесно: плечи, руки вдоль тела, как две гири, и запах пота, табака и подвала, будто он неделю не выходил из своей норы. Двери закрылись беззвучно, лифт пошёл вниз, и вместе с ним пошло вниз всё: свет желтел, потом серел, зеркало мутнело с каждым этажом, будто кто-то дышал на него с той стороны, и в этом мутном отражении я видела себя — бледную, босую, с клеймом на запястье, — и санитара, который стоял так близко, что казался частью стены. Он нажал «-1», а потом одну из безымянных кнопок, и лифт, не останавливаясь на минусе, пошёл ниже.

Санитар шагнул ближе, так, что я услышала, как под его весом скрипнул и прогнулся пол, будто лифт был старый и уставший, как и все в этом месте, и от него несло не просто потом и табаком, а застоявшейся мочой. Он наклонился, и его дыхание, влажное и свистящее, легло мне на шею, будто в лёгких было слишком мало места; он дышал через рот, и я слышала, как слюна собирается у него под языком и как он сглатывает громко, с усилием, будто проглатывал что-то густое. Он не касался, пока, но воздух между нами стал плотнее, как будто он уже трогал меня — не руками, а всем своим телом, вжатым в моё пространство. В зеркале я видела его лицо: глаза мутные, рот приоткрыт, язык медленно прошёлся по нижней губе и задержался в уголке; он смотрел на мои ноги, на грязь, на ссадины, на то, как мои шорты, и так не длинные, задрались выше, чем нужно.

И я поняла: он представлял не то, как меня трахает. Он представлял, как я буду смотреть на него, когда он это делает, как я буду плакать, как я буду просить, как я, сука, буду умолять его остановиться. И вот это, вот именно это, было самым мерзким — не то, что он сделает, а то, что он уже сделал у себя в голове.

Он шагнул ещё ближе, и теперь я чувствовала его живот — мягкий, тёплый, через ткань рубашки; он прижался почти невесомо, и я ощутила, как ткань его штанов натянулась. Он был возбуждён, твёрдый, и не скрывал этого: прижался бедром, медленно, и задержался на секунду дольше, чем нужно. Я стояла неподвижно, лицом к зеркалу, руки в хомуте за спиной, и если бы я дёрнулась, железо впилось бы в запястья, и он получил бы то, чего хотел, — повод сказать, что я сама виновата.

— Держись ровно, — сказал он хрипло. — Тут дёргаться некуда.

А затем провёл пальцем по бедру — коротко, почти невесомо, будто проверял, не сломаюсь ли; я слышала, как он облизнул палец и как втянул слюну, прежде чем коснуться меня, а потом убрал руку и стоял, дыша в затылок, пока лифт не остановился. Дыхание было неровное, с паузами, и в этих паузах я слышала, как он сглатывает и как у него урчит в животе — от голода или от чего-то другого.

В зеркале я видела его лицо: он улыбался, но не мне — себе. Пидофил чёртов.

Лифт остановился, и двери открылись не сразу: сначала щёлкнуло, потом заскрипело, и только потом створки разъехались, выпуская меня из бронзы и мягкого света в коридор с низким потолком. Здесь лампы дневного света, половина перегорела, половина мигала, выхватывали из темноты бетонный пол в разводах и бурых пятнах, и пахло хлоркой и чем-то непонятным, не то гниль, не то застарелая кровь, а под всем этим — запах немытых тел, старый, въевшийся в стены.

— Добро пожаловать вниз, — сказал он без интонации. — Наверху ты была никем. Здесь тоже никто. Но здесь это хотя бы честно.

Мимо прошла дежурная, лет тридцати, с журналом под мышкой; улыбка у неё была такая, что скулы, казалось, треснут, а глаза пустые, как у рыбы на прилавке — смотришь, а она уже не тут. Дежурная скользнула по мне взглядом, оценивающе, сверху вниз, как по строчке в списке, задержалась на задранных шортах и на босых ногах в грязи и фыркнула — не себе под нос, а прямо мне в лицо, коротко и презрительно, как фыркают на что-то, что плохо пахнет. Потом поставила галочку в журнале, не отводя от меня глаз, и сказала в никуда:

— Сто первая прибыла.

Я стояла в жёлто-сером свете и слушала, как лифт за моей спиной закрывает двери и уходит наверх беззвучно, словно я приехала сюда сама; санитар подтолкнул меня в спину, не грубо, почти устало, и мы пошли дальше.

Коридор кончился не стенами, а ими. Подростки здесь не были похожи на подростков: стеклянные глаза, дрожь в пальцах, синяки под глазами, как у тех, кто не спал неделю, а может, и никогда; ровные ожоги на руках, как печати, и улыбки, от которых хочется отвернуться — слишком много привычки причинять боль. Я такие взгляды видела часто: это были не дети, это были выродки системы.

И мне стало смешно — правда смешно, до того, что захотелось сесть на пол и заржать в голос. Как я вообще сюда попала? Руки не дрожат, ожогов нет, синяки почти незаметны, почти приличная. Почти. Потому что если перестать делать вид, я такая же, как они, и разница только в том, что они уже не притворяются, а я ещё держу лицо. Они смотрели на меня, как на свежее мясо. Ну-ну. Эти долбоёбы думают, что сожрут. Только заебуются глотать.

Хохот прокатился по коридору, липкий, низкий, как у гиен, которые смеются не потому, что смешно, а потому что нашли падаль. Парень склонил голову, будто разглядывал диковинную зверушку в клетке, и растянул слова:

— Ну что, папина дочка, расскажи, как ты его захуярила? Сковородкой или руками? — Поднял бровь, изображая интерес. — А то у нас тут знаешь как: одни папу любят, другие потрошат.

Кто-то хлопнул, кто-то присвистнул, будто я уже дала им бесплатный цирк. Двое шагнули ближе: один намотал мои волосы на кулак, медленно, чтобы я почувствовала, как натягивается кожа на черепе, а второй взял за руки, и его хватка была мёртвая — они не держали, а ломали, выворачивали суставы, пока кости не хрустнули, сухо и коротко; большие пальцы вдавили под ключицы, и руки начали неметь. Меня толкнули, и я упала на бетон, в разводы и чью-то слюну, которую кто-то оставил здесь до меня.

Я не сопротивлялась — не потому что не могла, а потому что знала: это только начало. Начну дёргаться, они получат то, чего хотят, а я хуй им это дам. Терпеть я умела. Умела ждать, пока это кончится, а когда кончится, тогда, сука, можно и ответить. Боль была моей первой

школой задолго до того, как я попала сюда: я знала, как она приходит, как разливается по телу и как отступает, знала, что если стиснуть зубы и считать, разум берёт верх. Меня этому научил отец — не словами, собственными руками: когда мне было двенадцать, он сломал мне два пальца, указательный и средний, на правой руке, и заставил сидеть за столом, пока не закончится ужин. Я сидела. Я ела. Я, блядь, считала. Пальцы распухли так, что я не могла согнуть их до конца, и каждый раз, когда я брала вилку, жар поднимался от кисти до локтя, но я ела и считала, сколько раз он поднимется, и с тех пор это стало просто ещё одним уроком, который я уже выучила. А потом я выучила другой, когда он повернулся ко мне спиной. И, судя по всему, сегодня у нас практика.

— Не дёргайся, — прошипел тот самый, со шрамом, прямо в ухо, спокойно, почти скучающе. — Без отметин отсюда никто не уходит. Традиция. А традиции, сама понимаешь, надо чтить.

Щелчок зажигалки, жар у ключицы: сначала тепло, потом горячо, потом агония, кожа вспыхнула. Тот, что со шрамом, достал из кармана маленький целлофановый пакет, мутный, завязанный на узел, и высыпал на ладонь соль — крупную, как дробь, грязную, серую; он держал её в кулаке, смотря на меня с издёвкой, и только потом разжал пальцы. Соль легла в обожжённое мясо, и боль взорвалась так, что я перестала видеть: тело дёрнулось само, дугой, будто изнутри выдернули позвоночник, мышцы сократились, спина выгнулась, голова запрокинулась, и из горла вырвался звук — не крик, что-то ниже, гортанное, животное, как будто внутри меня что-то сдохло и это оно теперь выло.

Я не закричала. Сжала зубы так, что челюсть свело, и считала — раз, два, три, четыре, — пока соль въедалась, и смотрела на них. Запоминала. Кто держал. Кто смеялся. Кто стоял в стороне. Это пройдёт, а они нет. Они останутся. И я останусь.

Парень, который только что спрашивал про отца, не смеялся; он смотрел, как я лежу на бетоне с ожогом, который пульсировал под ключицей, и в его светлых глазах было что-то среднее между скукой и любопытством. Смазливая рожа, подумала я, и ни одной эмоции, как будто ему и правда всё равно, словно он не кайфует от зрелища, а просто отмечает, что оно имеет место быть.

— Ну всё, хватит, — сказал он наконец, махнув рукой. — Мы же не звери. — И с той же ехидной ухмылкой, уже мне: — Живи, папина дочка. Может, ещё сковородку свою найдёшь.

Он повторил свою же шутку, будто она была единственной, которую он знал.

Хватка ослабла: волосы отпустили, запястья бросили, руки упали на бетон. Я поднялась, медленно, потому что колени дрожали, но поднялась; лампа над головой мигнула и погасла, на секунду стало почти темно, и в этой темноте я услышала, как кто-то дальше по коридору тихо всхлипнул, и сразу же глухой удар, и всхлип оборвался.

Боль отпустила не сразу, медленно, как когда сливаешь суп в раковину и он ещё долго чавкает в трубе. И тогда я шагнула к нему, почти вплотную, так, что пришлось поднять голову, и, поднявшись на цыпочки, чуть коснулась губами его уха и выдохнула тихо, чтобы слышал только он:

— Ты что-то говорил про сковородку? Так вот, я тебе её оставила, а рукоятку себе забрала. Так что в следующий раз, когда захочешь меня тронуть, не забудь: я знаю, куда её тебе засунуть, поглубже, и провернуть, чтоб наверняка, а потом ещё и отымею, чтобы не расслаблялся.

Я отстранилась, посмотрев ему в глаза, в эти слишком спокойные зрачки, и впервые за всё время они дрогнули — едва-едва, но дрогнули; улыбка у меня была спокойная, как у психбольной. Парень, который всё это время стоял с руками в карманах, медленно их вынул, но было поздно: я уже отвернулась и пошла по коридору.

Санитар, который стоял у стены, не вмешивался — курил, стряхивал пепел на пол, в те самые разводы. Он подошёл и посмотрел мне в лицо, впервые за всё время; у него были глаза

цвета мокрого асфальта, серые, без блеска, как у мёртвой рыбы, и он смотрел на меня и жевал зубочистку, медленно, лениво, будто это было единственное, что он умел делать. Я видела, как двигается его челюсть и как зубочистка перекатывается из угла в угол.

— Запомни, — сказал он, не отводя взгляда. — Здесь никто никого не спасает: ни я, ни дежурная, — кивок в сторону поста, — ни те, кто наверху. Хочешь выжить, учись сама. Хочешь сдохнуть, тоже сама. Только не под камерой, поняла? Под камерой нельзя. За это тут ебут так, что потом неделю ссать больно.

Он остановился и наклонился ближе, и я почувствовала его дыхание на лице.

— Ты думаешь, я тебе сейчас советы даю? — сказал он вполголоса. — Я тебе инструкцию даю. Как выжить в этом блядском зверинце. Потому что ты мне нравишься. Пока нравишься. Люблю, когда новенькие сразу показывают зубки. — Он выпрямился и пошёл дальше по коридору, не оглядываясь. — Не подведи.

Я стояла и смотрела ему в спину, широкую, тяжёлую, как у стены. И думала: он прав, никто никого не спасает. Но он говорил про выживание, а я думала про другое. Я не собиралась выживать. Я собиралась дождаться. Дождаться, когда откроется дверь, когда ослабнет железо, когда кто-то отвернётся.

Санитар замедлился у двери с табличкой «Медблок», и я заглянула в щель. В комнате на коленях стоял парень; я не разглядела лица, только спину, голую, в рубцах, свежих и влажных. Он держал руки за головой, и его трясло так, что зубы стучали. Перед ним на корточках сидел медработник, худой, в белом халате с застиранными пятнами на кармане, и медленно водил зажигалкой вдоль его позвоночника — не касаясь, просто водя, — и говорил ровно, как говорят с ребёнком, который не понимает, что его наказывают:

— Чувствуешь? Это воздух. Пока воздух. А теперь скажи спасибо, что не касаюсь.

И парень говорил:

— Спасибо.

И ещё раз:

— Спасибо.

Потом он обернулся, не вставая, всё так же на корточках, и увидел меня в щели; улыбнулся одними глазами.

— Новенькая? — спросил он, хотя ответ знал. — Хорошо. Мне как раз нужен кто-то с высоким болевым порогом.

Он поднялся, кивнул парню, коротко, как отдают команду, и тот исчез — не ушёл, а именно исчез: поднялся и вышел так быстро и тихо, что я не успела проследить, куда он делся. Медработник подошёл ко мне и взял за подбородок, почти бережно, как берут вещь, которую собираются разобрать; повернул голову, посмотрел на шею, на руки, на зрачки, потом на ожог. Протянул руку. Я дёрнулась.

— Тише, тише. Пока только посмотрю, — сказал он. — Пока.

Меня завели в процедурную, маленькую, с кафелем, который когда-то был белым, а теперь покрылся сеткой трещин, и в трещинах засела грязь, которую скорее всего уже не брала никакая хлорка. Он взял меня за плечо, усадил на кушетку с ободранным дерматином, потом дёрнул за металлический хомут, стягивающий запястья, — вывернул руку веной кверху, без предупреждения, без «сейчас будет больно», без ничего. Игла вошла резко, я дёрнулась, но он уже держал запястье так, что не вырвешься: пальцы тонкие, а хватка как у палача. Кровь пошла в пробирку медленно, густо; он смотрел на неё, а не на меня, как будто решал, не пора ли вернуть товар поставщику с пометкой «брак».

Вскоре отложил пробирку, взял сухую вату и сказал: «— Открой рот». Я открыла. Он провёл ватой по щеке, жёстко, до скрипа, сдирая слюну вместе с клетками; ещё раз, другой рукой. Заглянул в горло. Свет был белый, и в этом свете его лицо казалось гипсовым: ничего лишнего, только глаза, которые смотрели на меня, как на образец. Он выпрямился и бросил

вату в лоток. Молча. Кивнул санитару, и меня повели дальше, с ватной горечью во рту и ощущением иглы, которая минуту назад была в вене.

Санитар взял под локоть и увёл меня.

Дальше пошла карусель: кабинеты, коридоры, снова кабинеты; меня вели, сажали, задавали вопросы, записывали ответы, не слушая. Никто не спрашивал, как меня зовут — имя уже стояло в бумагах, но оно больше не имело значения, потому что теперь у меня был номер. Меня спрашивали, что я чувствую, что думаю, что сделала бы, — и записывали не то, что я говорила, а то, что хотели услышать.

В одном кабинете пахло хлоркой и чем-то сладким, в другом только хлоркой, в третьем ничем, и это было хуже всего: хлорка хотя бы означала, что здесь что-то отмывают, а здесь не отмывали ничего.

Были вопросы, на которые я отвечала, были те, на которые молчала; за молчание ставили галочку, за ответы тоже. Галочки множились, а я всё меньше понимала, что из этого важно.

Психолог был не первым и не последним, но запомнился мне особо: молодой, смазливый, с голосом, который он делал мягким, когда хотел, чтобы ты расслабилась, а вопросы задавал провокационные, один другого лучше. Он хотел вывести, докопаться, зацепить, а я давала ему то, что он хотел, каждым своим ответом загоняя себя на дно.

— Ты когда-нибудь хотела убить кого-то?

— Каждый день. Вас, например.

Он не поднял глаз. Записал. Ручка скрипела тонко, царапающе, как ноготь по стеклу; я смотрела на его руку — чистую, ухоженную, с ногтями, подстриженными ровно. Он мыл руки перед тем, как я вошла, — я слышала, как шумит вода в соседней комнате, как он вытирает их бумажным полотенцем, как бросает его в урну. Мыл, чтобы не запачкаться мной, как будто я была грязью.

— Это нормально. Агрессия — часть адаптации, — сказал он ровно, как будто читал с листа. — А если бы у тебя была возможность, ты бы это сделала?

— Прямо сейчас? — Я посмотрела на его горло, где под кожей билась жилка. — С удовольствием. Только руки связаны, а так бы уже попробовала.

Он снова не поднял глаз. Записал. И в этом скрипе ручки было столько же эмоций, сколько в его лице: он не боялся меня, он меня препарировал, как лягушку в школьной лаборатории — разложил на столе, закрепил булавками и методично ковырялся во внутренностях, записывая, что там внутри.

— А как ты думаешь, почему ты здесь?

— Потому что кто-то заплатил вам много денег, чтобы я сгнила в этом месте. Или потому что я убила человека, который заслуживал этого больше, чем вы. Выбирайте, что вам больше нравится.

— Я задаю вопросы, ты отвечаешь. Давай без оценок.

— А вы без оценок не можете. Вы же психолог. Вам по профессии положено копаться в чужом дерьме и делать вид, что вы спасаете.

Он наконец поднял глаза — серые, спокойные, как у человека, который слышал это сотни раз и ни разу не удивился, — и от этого взгляда мне захотелось встать и выйти, хотя дверь была заперта.

— Ты злишься, — сказал он. — Это хорошо. Злость — это топливо. Вопрос в том, куда ты его потратишь. На то, чтобы сгнить здесь, или на то, чтобы выбраться.

— А вы, значит, тот, кто подскажет, куда тратить? — Я усмехнулась. — Спасибо, обойдусь. Я сама найду, куда деть своё топливо. И вам не понравится, когда оно до вас дойдёт.

Он не ответил. Просто сделал ещё одну галочку в своём листе, и эта галочка была хуже любого удара: он не лечил меня и не пытался понять, он меня каталогизировал, как вещь на складе — «агрессивна, управляема, потенциал высокий».

— А как ты относишься к тому, что тебя здесь держат?

— Как к временному неудобству. Ничего не вечно, доктор. Даже вы.

— А что ты чувствуешь, когда причиняешь боль другим?

— Удовлетворение. Вы уже спрашивали.

— Я спрашиваю ещё раз.

— А я отвечаю ещё раз. Удовлетворение. Или вам нужно другое слово? «Радость»? «Облегчение»? Выбирайте, какое лучше смотрится в отчёте.

Он замолчал, посмотрел на меня долго, без выражения, и я почувствовала, как во рту стало вязко: слюна собралась под языком, густая, тёплая, я сглотнула, а горло было сухим, как наждачка, и я хотела пить — очень хотела, но не попросила. Не у него.

— Как конкретно ты бы хотела меня убить?

— Доктор, вы же любите гипотезы. — Я наклонила голову, почти как он. — Я бы взяла вашу ручку, ту, которой вы с каждым разом навешиваете на меня ярлыки, и изо всех сил засадила её вам в глаз. В оба, если успею.

Его зрачки расширились, и я поняла, что он возбуждён — не мной, а ситуацией. И я подумала: а ведь он тоже больной.

— Ты понимаешь, что я могу записать это как угрозу?

— Запишите. — Я улыбнулась.

Он молчал. Долго. Я слышала, как тикают часы на стене, громко, назойливо, как будто кто-то стучал пальцем по столу; слышала, как за дверью прошёл кто-то тяжёлый, потом тишина; слышала, как он дышит, ровно и спокойно, как человек, который умеет держать себя в руках. Я думала, он вызовет санитара. Он не вызвал. Закрыл блокнот:

— На сегодня всё.

Я встала. У двери обернулась.

— Доктор?

Он поднял глаза.

— Вы вопросы задавайте поосторожнее. А то знаете, как бывает: спрашиваешь-спрашиваешь, а потом раз, и ответ уже не в блокноте, а в вашей плоти.

Я вышла, не дожидаясь ответа. В коридоре прислонилась к стене и закрыла глаза. Руки дрожали, не от страха, а от чего-то другого — от того, что мне понравилось. Мне понравилось смотреть, как он боится. Мне понравилось чувствовать власть, пусть на секунду, пусть в разговоре, пусть в словах. И я испугалась. Потому что если мне нравится власть через боль, то что я буду чувствовать, когда у меня будет настоящая власть? Когда я смогу не говорить, а делать? Я открыла глаза и посмотрела на свои руки. Они больше не дрожали. И это напугало меня ещё больше.

Дальше были комнаты. Люди. Много. С папками, с ручками, с вопросами. Некоторые улыбались. Некоторые нет. Некоторые смотрели на меня так, будто я не человек, а задача, которую надо решить, другие же как на ошибку, которую надо исправить препаратами или иными методами воздействия. Я отвечала. Молчала. Кивала. Пожимала плечами. Улыбалась, когда надо было улыбаться. Смотрела в пол, когда надо было смотреть в пол. В какой-то момент я перестала считать комнаты; счёт не имел значения. Значение имело только одно: не выделяйся. Не смотри в глаза дольше секунды. Не отвечай быстрее, чем нужно. Не молчи дольше, чем положено. Будь как стена, серая, ровная, без трещин. Стены не бьют. Стены просто красят. Иногда кровью, но это уже детали.

Санитар сменился, видимо, прошлому наскучило возиться со мной. Молодой, лет двадцати пяти, с лицом, которое ещё не успело застыть в одну маску, но уже пыталось: он всё время жевал внутреннюю сторону щеки и щурился, даже когда света не было. Он не торопил; просто стоял, и по лицу было видно: он видел этот путь сотню раз, и каждый раз было оди-

наково. На груди у него, чуть ниже ключицы, болтался бейджик — «Генри», — приколотый криво, будто приколот на ходу.

— Пошли, — сказал Генри, и голос сорвался на полуслове, как у подростка, который ещё не решил, говорить ему басом или нет.

Потом он повёл меня к лестнице — узкой, бетонной, с перилами, выкрашенными в тот же серый, что и стены, и с дверью внизу, на которой не было ручки. Он толкнул её плечом, и мы вышли на минус второй этаж. Здесь не было камер — то есть они, может, и были, но я их не видела. Санитар шёл спокойно, не оглядываясь: так ходят там, где точно знают, что никто не смотрит.

— Теперь ты практически всё знаешь. — Он помолчал. — Сделай всё возможное, чтобы хоть сегодня ты отдохнула, потому что скоро ты будешь одна наедине со всеми. — Он выпрямился, сунул руки в карманы. — И дай бог тебе не сдохнуть за эту ночь.

Моим местом стал жилой блок С: узкий коридор, одна душевая на всех, с тремя работающими лейками из шести; пол бетон под дешёвым линолеумом, который вздулся у порога и пах резиной; стены серые, в потёках от старой влаги, с царапинами и надписями, сделанными чем попало: кровью, ногтями, осколками. Каждая камера на две койки, но особо буйных селили одних. Комнату даже камерой назвать было нельзя. Тюремной тем более. Бомж-стайл, блять: бетон, линолеум, запах резины и хлорки. Хлорка здесь была везде — в воздухе, на стенах, в одеяле, — и я уже чувствовала, что скоро она мне будет мерещиться даже там, где её нет. Моя койка у стены, вторая у двери; на второй уже лежала девушка, лет шестнадцати, не больше: тонкая, как жердочка, ключицы торчат, вот-вот прорвут кожу, волосы тусклые, мышиные, стянуты в хвост, который давно не расчёсывали, лицо стёртое, словно кто-то провёл по нему ладонью, стирая всё, что делало его её.

Она не повернула головы, не спросила, кто я, и сказала тихо, без интонации, как будто читала по бумаге:

— Не ложись на правый бок. Там пружина торчит.

И замолчала.

Я легла на левый. Матрас был тонкий, продавленный в центре, простыня жёсткая, стираная до наждака, одеяло серое, тяжёлое, с запахом чужого пота, который вряд ли выветривался. Лампочка мигала, будто сама боялась светить слишком ярко. Кто-то написал на стене «МЕНЯ НЕТ», и обвёл, и ещё раз обвёл, пока буквы не превратились в дыру в штукатурке.

Первая ночь не была тихой, она была наполненной, но не звуками: звуки стихли, и осталось дыхание, её, с соседней койки, и моё. Она скрипела зубами во сне, бормотала быстро и неразборчиво, будто догоняла кого-то. А потом я услышала, как она грызёт — не во сне, наяву: правая рука была обмотана чем-то грязным, а из-под тряпки виднелись пальцы, без ногтей, все, до мяса, и соседка подносила их ко рту, по одному, медленно, и грызла. Не ела. Грызла. Как грызут ногти, только ногтей уже не было, и она грызла то, что под ними, кожу, мясо, и давилась, и снова жевала.

Я смотрела на её руки и думала: вот оно. Вот что здесь делают с людьми. Не ломают, перемалывают. Медленно, по кусочку, начиная с психики. Я запомнила это. Завтра я не собиралась стать такой же. Я закрыла глаза, где-то в темноте кто-то снова скрипнул зубами, и я подумала: может, это я. Потом всё стихло, или я просто перестала слышать.

Я не знаю, сколько проспала. Может, час, может, два. Проснулась от рывка: кто-то схватил меня за ногу и дёрнул так, что я съехала с кровати на пол, ударившись коленом о бетон. Прежде чем я поняла, что происходит, на голову натянули мешок — опять, заебали, как будто без этой вонючей тряпки на голове никак. Потом начались прикосновения: чужая ладонь легла на мешок, прямо мне на лицо, я дёрнулась, но меня уже держали двое — один тянул за плечо, другой за запястья. Меня поволокли, ноги волочились по полу, цепляясь за стыки плит; пол был скользкий, в разводах, в той самой грязи, которую здесь никогда не отмывали. Я спотыка-

лась: колени о бетон, локоть, подбородок, чей-то ботинок. Тот, кто держал, выругался и ударил меня по голове. Гул нарастал — голоса, смех: «Тащи, тащи, не тормози», «Смотри, как дёргается», — а потом прямо над ухом, тихо: «Тише. Не ори». Рывок, я упала на колени, под мешком на лицо набежало горячее, то ли пот, то ли кровь из разбитой губы. Чьи-то руки взялись за край мешка. Мешок сдёрнули, свет ударил в глаза — белый, от лампы прямо надо мной; я зажмурилась, открыла: чужие ноги, бетон, тени.

— Добро пожаловать в ад, сучка, — сказал голос. Знакомый: я узнала его раньше, чем увидела лицо. Девяносто первый — тот самый парень, которому я обещала отыметь его рукояткой от сковородки. Видимо, он решил не ждать.

— Ад? — я хрипло усмехнулась. Разбитая губа напомнила о себе, и улыбка вышла кривой, как у пьяной. — Мальчик, я в аду жила.

— Жила значит, — сказал он, и ухмылка озарила его ебальничек. — Ну это мы ещё увидим, как ты отсюда выйдешь живой.

— Выйду или нет, — я сплюнула кровью на бетон, — но твоё лицо я запомнила.

ГЛАВА 2. «МЯСНАЯ УТОПИЯ»

«Кровь пахнет одинаково — что твоя, что чужая. Разница лишь в том, кто её слизывает.»

Под потолком гудело так, что я чувствовала этот звук всем телом: низкий, ровный, будто дышала сама преисподняя. Запрокинула голову — потолок терялся в темноте, гул шёл оттуда, с балкона. Опустила глаза и увидела клетку.

Она стояла в центре бетонного пола, сваренная из толстых прутьев, с сеткой поверху, и в свете прожекторов казалась не то декорацией, не то алтарём. Здесь её называли рингом, и это было единственное, что имело значение. Всё остальное — гул, свет, люди — лишь фон.

У входа меня держали двое: один вцепился в плечо так, что большой палец вдавился в ямку над ключицей, второй вывернул локоть назад. Заботливые уёбки. Будто я могла сбежать из чужого ада, где даже двери не запоминаются. Я даже не знала, что смешнее: их хватка или то, что они всерьёз считали её необходимой.

Во мне поднималось что-то среднее между истерикой и восторгом. Обвела взглядом клетку, прожектора, толпу — и поняла: вот это даже не ад, это ад с дизайнером, ад, который кто-то проектировал с мыслью «а что, если сделать страдание красивым?»

— Чего? — парень рядом покосился.

— Ничего. — Я кивнула на клетку. — Просто думаю: у того, кто это проектировал, член, наверное, маленький. Самоутверждался как мог.

Он не понял. Ну и ладно. Я тоже не до конца понимала, почему ещё не начала кричать. Может, потому, что кричать бесполезно, а может, внутри уже что-то отщёлкнулось: тот самый тумблер, который отвечает за «страшно» и «нормально». Вместо страха осталось только тупое, злое любопытство, как у человека, который пришёл на собеседование, а там вместо офиса оказалось казино, и ему говорят: «Ну что, играем?»

Играть я, если честно, любила. Но это было в детстве, когда ставки были не такие уж высокие.

Конечно, я могла бы сказать что-то пафосное — про точку невозврата, про то, как смотрела на эту клетку и понимала, что вот она, черта. Но я думала о другом: интересно, а если я откажусь выходить на этот ринг, они меня просто застрелят? Или будут уговаривать? Или, что самое смешное, начнут стыдить? «Ну ты же понимаешь, сто первый, мы на тебя ставки сделали, а ставки это святое, будь человеком». Ага, очень по-человечески.

Хотя, если подумать, у них тут в принципе странное отношение к слову «человек». Судя по обстановке, «будь человеком» означает «зайди в клетку и дай себя разделать, как свинью на бойне, но пожалуйста, сделай это красиво, чтобы зрителям понравилось». Может, у них ещё и зачёт по поведению есть? «Умение достойно умереть — десять баллов, не кричать — дополнительный балл, кричать — минус балл, но зрителям нравится, так что оставим на усмотрение судьи».

Клетка для новеньких была не аттракционом, а тотемом мусорного бога по имени Блэкрофт — единственным настоящим порогом в «NOBILES», который проходили не через парадную дверь, а через железо и крики.

Правила короткие, как очередь на расстрел: проиграл — платишь телом, выжил — платишь дальше, и с каждым разом всё дороже. Остаться должен один, и этот «один» не победитель, потому что победителей здесь нет. Есть тот, кого пока не стёрли окончательно. Мясо, которое ещё не сдали в утиль.

Прожектора выедали зрачки. Толпа уже была готова, ставки летели по воздуху, как плевки, голоса сливались в одну чёрную пасть: капюшоны, голодные глаза, кто-то орал что-то несвязное, кто-то свистел так, что резало уши.

Я ждала с интересом, честное слово блядь, как в кино, как будто купила билет и надеялась, что фильм окажется не таким уж дерьмовым.

Спойлер: оказался дерьмовым, но с кровью и спецэффектами.

Свежак. Так нас назвали. Четыре куска мяса, которые сегодня выставляли на витрину. Не хватало только ценников и акции «купи два, третий бесплатно».

Первыми запустили двоих. Они вошли не вместе: один на полшага впереди, второй за ним. Полшага хватило, чтобы стало ясно, кто здесь главный. Первый — огромный, не толстый, широкий, как дверной проём, такой же молчаливый. Он прошёл вдоль стены, кафель под его ботинками не скрипнул ни разу. Интересно, подумала я, он и на людей так наступает, без звука, чтобы жертва не успела обернуться? Я смотрела на его руки: пальцы длинные, суставы вздутые, будто их годами ломали и не давали зажить. Через лицо шёл шрам — старый, белый, от виска до угла рта. Глаз под ним был приоткрыт всегда, даже когда он моргал: веко не доставало до конца. На шее сбоку язва, заклеенная пластырем. Пластырь грязный, он его явно не менял. Видимо, экономный парень.

Второй ниже, шире, в нём было что-то от собаки, которую били частенько. Шея толстая, уши помяты, одно прижато к голове сильнее другого. Губы в трещинах, на скулах синяки — жёлтые по краям, свежие в середине. Он не прятал их, не отворачивался, смотрел прямо, будто спрашивал: ну и что ты сделаешь? Он встал у края клетки, сунул руки в карманы, под толстовкой что-то топорщилось. Нож или что-то короче. Я не стала додумывать. Додумывать в таких местах вредно для здоровья.

Я смотрела на них и прикидывала: такие лица не запоминают, их узнают по приметам, как в ориентировке. Только в ориентировке пишут «особо опасен», и я подумала, что для этих двоих и этого мало.

Голос ведущего вывел меня из собственных рассуждений. Он зарычал в микрофон так буднично, будто зачитывал меню на сегодня:

— Сто второй против сто третьего. — Ни имён, ни фамилий, только номера на запястьях. Ибо пока ты не докажешь, что заслуживаешь большего, ты для них просто цифра в списке.

— Клетка заперта. Ставки сделаны. Три… два… один… да начнётся мясо, детишки!

Молот и топор они взяли без спешки, как берут инструменты, которые уже держали сотню раз. Гонг ударил тихо, почти неслышно под вой толпы, но именно после него всё началось. Они сошлись без разгона, будто кто-то нажал кнопку «мясорубка». Первый удар пришёлся сверху: топор ушёл в сторону, но не туда, куда целился, — сто второй дёрнулся вбок, лезвие врезалось в прутья клетки, лязгнуло так, что у меня заложило уши. Клетка качнулась, дрожь дошла до моих ног.

Сто третий не стал ждать. Он шагнул вперёд, перенося вес на переднюю ногу, молот пошёл по дуге — не быстро, а тяжело, всей массой, — сто второй успел закрыться, но не успел убрать руку. Молот ударил по предплечью, кость хрустнула раньше, чем сто второй охнул. Ткань на рукаве лопнула, кровь брызнула на пол, тёмная, густая, как сгущёнка из плохой банки. Сто второй согнулся, прижимая руку к груди, его лицо стало белым, как бетон под ногами.

Я считала: раз, два, три… и сбилась на четвёртом, потому что сто третий уже заносил молот для второго удара, и я знала, что сейчас будет. Сто второй попытался отступить, но ноги не слушались; он рухнул на колени, молот опустился ему на плечо — не сверху, а сбоку, с оттяжкой, так что плечо ушло вниз, голова мотнулась в сторону, изо рта вылетел воздух со свистом, кровь и что-то ещё, чего я не хотела разглядывать.

Дальше было быстро и кроваво. Сто третий бил не туда, где больно, а туда, где нужно, чтобы противник перестал двигаться: рукоятью по печени, так что сто второй сложился пополам; ребром ладони по запястью, которым тот пытался закрыться; предплечьем поперёк шеи, к полу, два коротких удара корпусу — с каждым ударом из сто второго выходил звук, не крик, что-то ниже, гортанное, животное, как будто внутри него что-то сдохло и это оно теперь выло.

Толпа завопила аплодисментами. Вой, свист, топот; кто-то ржал так, что срывался в кашель. Я держалась у сетки, пальцы вцепились в прутья, металл холодил ладони, и смотрела на кровь, которая ещё блестела на полу — тёмная, густая, она растеклась широкой полосой и уже подсыхала по краям, собираясь в корку. Сто второй лежал лицом вниз, его спина ещё подрагивала — коротко, судорожно, как у тела, которое уже не живёт, а просто ещё не знает об этом. Кусок мяса на бетоне, цифра, которую сегодня стёрли. Я даже не знала, как его зовут. Сто второй. Просто номер на запястье, который через час перестанет иметь значение, потому что на его место придут другие, и толпа забудет — как забывает всё, что не оставляет крови на её собственных руках.

А затем из толпы выкрикнули — так, как отдают команду собаке:

— Он не должен шевелиться.

Сто третий услышал. Он стоял над телом, тяжело дыша, с молотом в опущенной руке, и в его лице что-то переключилось — механическое послушание, как у безвольной машины. Он поднял молот двумя руками, занёс над головой — медленно, почти торжественно, — и опустил. Один удар. Голова сто второго лопнула, разошлась под молотом, и то, что было головой, перестало быть ей. Кровь брызнула в стороны, попала на прутья клетки, на бетон, на ботинки сто третьего, и он даже не отшатнулся. Стоял и смотрел вниз, как смотрят на раздавленное насекомое.

Это было ужасающее зрелище.

Ведущий вошёл в клетку быстро и деловито, подошёл к тому, с топором, взял его руку за запястье и поднял вверх, как поднимают руку чемпиона на ринге. Кровь с его пальцев капала на пол, но ведущего это явно не смущало.

— Дамы и господа! — заорал он в микрофон, и голос его дрожал от восторга, который он явно репетировал перед зеркалом. — Победил сто третий!

Сто третий замер, тяжело дыша, с окровавленным топором в опущенной руке, и смотрел не на толпу, а куда-то в сторону, в пустоту. Затем повернулся и пошёл к выходу. Ведущий ещё что-то орал в микрофон, но его голос тонул в гуле, который снова начал подниматься — сначала робко, затем громче, как прибой после отлива.

А затем открылась дверь, и в клетку вошли двое — не санитары, те двигались быстрее, а эти двое шли медленно, будто у них было время, будто им платили не за скорость, а за что-то другое. Они принесли чёрный брезент, расстелили рядом с телом, затем взяли сто второго за руки и за ноги и перевалили на ткань, и брезент прогнулся под весом, и там, где легла голова, сразу проступило тёмное пятно, а они замотали его быстро, привычно, подоткнув края под спину, и уволокли так буднично, словно выносили мусор.

Один из них, с лицом, которое я уже видела в коридоре — длинный, худой, с залысинами и глазами, которые ни на чём не задерживались дольше пяти секунд, — задержался, посмотрел на разводы на полу, затем на меня и сказал:

— Ну что, сто первая. Твой выход.

И только затем в клетку завели меня, под вой толпы, которая уже жаждала новой крови — моей крови.

За сеткой всё сливалось в один блестящий круг: свет, крики, тени. Шагнув внутрь, я услышала, как стучит кровь в висках: громко, отчётливо, будто кто-то стучал пальцем по столу прямо у меня в голове.

Арсенал висел по звеньям клетки, и я провела ладонью вдоль, просто чтобы почувствовать, что здесь есть что-то, кроме голого пола. Кастеты с шипами, каждый с зазубринами, заточенный рвать, а не резать. На одном под шипами засох лоскут чужой кожи, и я отдёрнула руку, прежде чем поняла, что делаю. Цепи с рваными звеньями, холодные, тяжёлые. Мачете с полукруглой ухмылкой лезвия, покрытого старыми царапинами, будто кто-то считал на нём удары.

Узкие ножи и кинжалы, целый косяк чёрных рыбок, рукояти перетянуты изодранной лентой, липкой от соли и времени, на некоторых были номера на бирках, как в морге.

Запах бил в нос слоями, желудок подкатывал к горлу: желчь, свежая кровь и старая, которая была хуже свежей, потому что пахла не смертью, а тем, что было до неё. Снаружи толпа была шумом, а здесь становилась пастью. Глухой гул давил сверху, горло стянуло так, что вдох приходилось проталкивать силой, и каждый вдох отдавался в ушах всё сильнее.

Колени гудели и подгибались, ноги тянули назад, и всё во мне кричало: беги, пока не заперли. Но я держалась. Пальцы сжались в кулаки, чтобы никто не увидел дрожь, и я медленно, очень медленно, перенесла вес с одной ноги на другую, будто просто переминалась, а на самом деле проверяла, слушаются ли они ещё.

Клетка открылась, и следом вышел сто четвёртый. Он не замирал ни на секунду: переступал с ноги на ногу, дёргал плечами, щёлкал пальцами по бедру — тук, тук, тук, — и от этого казалось, что его тело живёт отдельно от него и не слушается. Кожа натянута на скулах, под глазами ямы, сами глаза красные, зрачки провалены. Такой вид бывает у людей, которые давно сидят на диете из чужих объедков и собственных нервов, и диета, судя по всему, работает. Улыбка кривая, как зашитый порез, и обещает столько же, сколько заточка, — ничего хорошего. На ключице змеился хвост татуировки, дешёвой, из тех, что набивают в подвале, а затем жалеют всю жизнь. Он облизывался на ходу и каждый раз, когда взгляд цеплялся за меня.

— Сейчас я тебя разделаю. И если ты кричать не будешь, я расстроюсь. А когда я расстраиваюсь, я делаю больнее. Так что кричи, конфетка. Кричи, пока я добрый.

— Дерзай, ублюдок, — ответила я, не меняя лица.

Ударил гонг.

И вот тут очко у меня сжалось конкретно. Пиздеть я умела хорошо, язык всегда работал быстрее мозгов, но сейчас язык мне не поможет, и это было чертовски обидно.

Я убивала. Один раз, под адреналином, отца, который не ожидал, что я в принципе решусь на это. Но одно дело — когда жертва не верит, что ты её зарежешь, и другое — когда перед тобой стоит психованное, дёрганое создание, которое хочет этого больше, чем ты. Это уже нечестно.

Он сорвался так резко, что я даже не успела испугаться, мачете уже было у него в руках. Я была уверена: мысленно в эту секунду он уже резал меня на куски и складывал в аккуратную стопку. Вопрос «а мне-то что делать, блять?» я задать не успела. Ноги уже несли к клинкам. Не от храбрости, от чего-то похуже. Я сорвала их с крючков на клетке, рванула так, что металл взвизгнул. Рукояти сели в ладони, как родные. Пальцы сжались сами.

Первый рывок, и он почти рядом. Мачете прошло так близко, что ещё немного и хлестнуло бы по шее. Я успела увернуться, отскочить в другой край клетки. Он зарычал, как собака. Этот звук меня бесил и сбивал одновременно: и так, нахуй, не знаешь, что делать, а тут ещё и гавкают. Я усмехнулась: «Может, мне по кругу бегать, как идиотке? Зато не отхуярит мачете». Он зарычал снова, и я поняла, что стою и улыбаюсь ему в морду. Хорошая тактика. Психиатр бы оценил.

А затем откуда-то сверху, с балкона, выкрикнули с издевкой. Голос низкий, спокойный, будто человек даже не старался перекричать толпу, а знал, что его и так услышат:

— Сто четвёртый, неужели силёнок не хватает завалить девку?

Я ещё не знала его номера. Но уже тогда поняла: это не толпа. Это кто-то, кто стоит над толпой. Чтоб у тебя язык отсох, подумала я. Нахуя ты это сказал? Тебе-то что с того? Судя по голосу, много. Достаточно, чтобы открыть рот.

И тут меня будто кто-то взял за затылок и повернул голову вверх. Я даже не сразу поняла, что это не рука, а просто взгляд — чужой, тяжёлый, он лежал на мне, как чужая ладонь на горле, перекрывая воздух.

Я подняла глаза.

На втором этаже, у перил, стоял парень. Голый торс, тёмные джинсы, локти на перилах, как на подлокотниках собственного трона. Не смотрел, давил. Ловил мой взгляд и держал, как дуло у виска. Я видела его впервые, номера не знала. Он пугал меня сильнее того, кто сейчас в клетке. Я стояла с клинками, с разбитой губой, а страх шёл не от психа с мачетой, а от лысого парня на балконе, который даже не двигался. Вот это и было хуже всего. Псих хоть что-то делает. А этот замер и смотрит, будто я уже его.

Я отвела взгляд не потому, что стало легче, а потому, что иначе так и замерла бы, глядя на него, пока меня не убьют, — и это была бы, наверное, самая тупая смерть в моей жизни. Как только я перевела взгляд на шизика, я увидела, что с ним что-то произошло за это время: он перестал щёлкать пальцами, плечи опустились, а глаза стали другими, не пустыми, а злыми, словно кто-то нажал кнопку «пуск».

Он бил меня по лицу, по животу, как будто отбивал мясо перед готовкой. Я закрывалась, как могла, и сначала даже не чувствовала боли, только давление, словно в меня вбивали гвозди. А затем боль пришла, я почувствовала, как из носа течёт кровь, сначала тонкой струйкой, затем сильнее, как в ушах звенит так, что я перестаю слышать толпу. И это было даже хорошо: тишина в ушах лучше, чем их безумный вопль.

А затем он отступил на шаг, и я успела вдохнуть. Только вдохнуть — потому что он уже выхватил мачете и резанул им по майке у рёбер. Я закричала. В глазах потемнело, дыхание сбилось. Ткань намокла, и сразу же запах — солёный, железный. Я поняла, что это пахнет моя собственная кровь. Если бы я не отступила чуть назад, этот псих бы мне пол тела отрубил.

И тут во мне что-то переключилось. Он отвернулся к сетке, поднял окровавленное мачете и начал говорить — громко, с удовольствием, растягивая слова:

— Сейчас, — он повёл лезвием в воздухе, — я вскрою ей живот и посмотрю, что у неё внут…

Дерево оказалось нервным. Он начал меня скидывать, бил о прутья сетки, и с каждым ударом в спину впивались цепи, кастеты, ещё какая-то хуйня, названия которой я даже не знала. Тут он очередной раз приложил меня спиной об сетку, и я увидела на уровне глаз нож. Просто висел, ждал. Я схватила его и засадила ему в спину со всей силы, что у меня была.

Он заорал яростно, обернулся через плечо и выплюнул:

— Малолетняя шлюха! Я тебя, сука…

Договорить он не успел. Я уже тянулась за ещё какой-то острой хернёй, но схватить не успела. Он дёрнулся всем телом, выгнулся, сбрасывая меня. Пол ударил в спину, я не успела ни сгруппироваться, ни вдохнуть. Клетка пошла кувырком: сетка, прутья, свет, снова пол, и так несколько раз, пока меня не впечатало плечом во что-то твёрдое. Рука сама наткнулась на рукоять. Мой клинок. Лежал, ждал. «Да ты ж мой родненький», чуть не вырвалось вслух, и счастливее я, пожалуй, ещё не была, потому что вряд ли успела бы снять с сетки хоть что-то.

Пальцы сомкнулись на рукояти, холод металла обжёг ладонь, и я рванула клинок на себя, быстро поднимаясь. И вовремя: он уже выдернул нож из спины, клинок из живота, взял мачете — и шёл ко мне так быстро, что воздух за ним не успевал.

Видок у него был такой, что лучше бы не оборачивалась. По лицу всё читалось без слов: МНЕ ПИЗДА.

Я не знаю, как это вышло. Секунду назад он шёл на меня, а в следующую — уже навалился сверху, вдавив колено в живот и отбросив мачете в сторону, его пальцы сомкнулись на горле. Воздух кончился сразу, весь, до капли.

Он бил и кричал, брызгая слюной мне в лицо:

— Думала, всё? Думала, справилась? — удар. — Ну?! — удар. — Говори, сука! — ещё удар.

Я не могла говорить. Могла только хрипеть и дёргаться. А он всё бил, и с каждым ударом его голос срывался всё выше, пока не стал визгом. И тут я вспомнила про клинок. Он всё

ещё был у меня — прижат между нами, рукоять впилась в ладонь, лезвие упёрлось ему в бок. Когда он навалился сильнее, сталь вошла глубже, сама, без моего участия. Он дёрнулся, но не отстранился, только сжал горло сильнее, и тогда я вцепилась зубами ему в предплечье. Просто впилась, что было силы, до мяса, до вкуса крови на языке. Он взвыл и на секунду ослабил хватку, мне хватило этой секунды, чтобы вывернуться, дёрнуть бедром, толкнуть и оказаться сверху.

И первое, что я сделала, оказавшись на нём, — рванула тот самый клинок из его бока. Он сидел достаточно глубоко, выходил с мокрым хрустом, с тягучим сопротивлением, с чем-то, что не хотело отпускать сталь, будто срослось с ней. Вырвала. Рядом валялся нож — я подхватила его, и теперь била уже двумя руками, сверху, снова и снова, уже с моим участием: раз, другой, третий, по тому, что было подо мной, по тому, что ещё дёргалось и пыталось закрыться, по мясу, которое уже не сопротивлялось, а просто принимало. Кровь заливала рукояти, пальцы скользили, приходилось перехватывать, вжимать, рвать дальше. Грань с реальностью начала стираться. Я перестала соображать.

Перед глазами стояла пелена, серая, глухая, и только где-то в глубине, далеко-далеко, кто-то кричал — толпа или он, уже не разобрать. Глаза заливало его кровью: она текла со лба, забивалась в ресницы, и я смотрела на него сквозь красную муть, а руки всё били и били, превращая лицо в месиво, в кашу, в то, что уже не имело названия.

Меня дёрнули за плечо — я не отпустила. Дёрнули сильнее, второй полез под локоть, вцепился в запястье, и только тогда, вдвоём, меня буквально оттащили от тела. Я всё ещё тянулась обратно, всё ещё сжимала клинки, пальцы свело, суставы побелели, и разжать их стоило труда. Когда наконец разжала, клинки упали, и звук отпечатался у меня в башке, будто кто-то окончательно захлопнул крышку гроба моей человечности. Ладони показались чужими: не руки, а инструмент, покрытый чужой жизнью.

Меня поставили посреди клетки — ноги едва держали, колени подгибались, — но руку я не опустила. Держалась с поднятой рукой, мокрой по локоть, и с неё капало на пол: тяжёлыми, редкими каплями, в тишине слишком громкими.

— Сто первый! — заорал ведущий в микрофон.

Я знала свой номер, но когда его произнесли вслух, он прозвучал как приговор. Вой толпы ударил в уши.

Затем он убрал микрофон и подскочил ко мне, сияя так, будто мы вместе выиграли в лотерею.

— Вот это номер ты машина! Дай пять!

— Убери руку, — проговорила я тихо и ровно, так, чтобы он понял, что это не просьба.

Он не понял или сделал вид.

— Девочка, ну улыбнись в камеру, на память, зрители любят лица.

— Лица в морге.

— Эй-эй, спокойно, у нас же шоу…

— Шоу закончилось.

Сбоку распахнулась калитка, двое с брезентом унесли тело, а этот кретин с микрофоном уже растворился за спинами толпы.

Я шагнула следом, к выходу из клетки, и тут один из санитаров — здоровый, с брезентом в руках — закрыл мне дорогу, поднял ладонь:

— Стой. Тебе туда нельзя, пока не…

Он не договорил. Оглянулся через плечо, вверх на балкон.

Там был Блэкрофт: на вид ему было под пятьдесят, но он выглядел так, будто время решило не тратить на него силы — сухой, поджарый, без единой лишней складки, в тёмном костюме, который сидел слишком хорошо для человека, который только что смотрел, как убивают. Волосы коротко стрижены, седины почти нет, лицо гладкое, спокойное, с выражением

человека, который давно перестал считать чужие жизни чем-то большим, чем расходный материал. Причём материал, который он сам и поставляет.

Блэкрофт не двигался. Только чуть качнул головой — вниз, коротко, — и поднёс к губам рацию. Голос донёсся из динамика, тихий и совершенно спокойный:

— Питер, отпусти девочку. Пусть осознает, что сделала.

Санитар медленно убрал руку. Отступил. И в этот момент Блэкрофт посмотрел на меня. Мы смотрели друг на друга минуту. А затем он подмигнул, расплываясь в улыбке. Медленной, довольной, как у человека, которому только что показали что-то, что он давно хотел увидеть — кровавое шоу.

Чёртов ублюдок.

Я вышла. Железная дверь поддалась сразу, будто её кто-то придерживал с той стороны, и за ней оказался коридор — длинный, пустой, с лампами под потолком, которые гудели тихо и раздражающе. Холод поднимался с пола, намерзал на рёбрах, что-то внутри отщёлкнуло финально, и та, что пришла на ринг, здесь уже не была. Она осталась по ту сторону решётки вместе с тем, кого добила до тишины.

Коридор встретил тишиной. Гул толпы остался позади, будто отрезанный ножом, но эхо всё ещё царапало виски.

И тут меня накрыло, не сразу: сначала ноги стали ватными, будто из них вынули кости, и я прислонилась к стене, сползла по ней плечом, вжалась лопатками. Стена была холодная, шершавая, и это было единственное, что держало меня в реальности, потому что всё остальное плыло.

В голове начали всплывать картинки, не целиком, кусками. Сначала его лицо — если это ещё можно было назвать лицом: разбитое, расползшееся, с провалами там, где раньше были глаза. Затем руки — мои руки, сведённые на рукоятях, с побелевшими суставами, с кровью, которая забилась под ногти.

И тут же из меня вырвался смех. Тихий, короткий, совсем не весёлый — такой, каким смеются, когда внутри уже не осталось места ни для страха, ни для слёз. Он вышел сам, будто кто-то дёрнул за нитку. Я вжала ладонь в рот сильнее, и тогда смех перешёл в крик — глухой, задавленный, прямо в ладонь, так что он остался внутри. Когда крик кончился, я запустила руки в волосы и сжала — сильно, до боли, до скрипа зубов. Пальцы вцепились в спутанные пряди, потянули, и это было хорошо. Больно и хорошо. Что-то, за что можно было зацепиться, кроме холодной стены и собственного дыхания.

И только затем, когда дышать стало чуть легче, я прошептала, сама себе, в пустой коридор:

— Больше не убивать.

Но с каждым разом это звучало всё менее убедительно, будто я уговаривала не себя, а кого-то другого, кто сидел внутри и не хотел слушать.

Я встала на шатающихся ногах, прислонилась к стене, переждала, пока перестанет качать, и пошла дальше, не замечая ничего: ни коридора, ни ламп, ни теней. Просто шла, пока не врезалась во что-то твёрдое.

Я не слышала шагов. Просто в какой-то момент стена стала человеком. Он уже нависал вплотную — видимо, вышел следом, пока я шла, не разбирая дороги. Лампа дёрнулась, вспыхнула, выхватила его целиком.

Это был тот самый парень. Тот, что прожигал меня взглядом с балкона. Тогда он был лишь контуром — тёмное пятно у перил, от которого воздух становился тяжелее. Теперь я видела его целиком.

Высокий, под два метра. Голова выбрита до кожи. Плечи широкие, тяжёлые — такие, что взгляд невольно скользил по ним вниз, по груди, по рукам, и только затем я заметила, что кожа у него была покрыта татуировками. И мне показалось, тело под ними было неправильным.

Слишком ровным, слишком точным. Каждый мускул лежал на своём месте, обведённый чёткой тенью, будто кто-то рисовал его карандашом и не стирал. Его грудь — боже, это грех воплоти, — каждая мышца прорисована так, что видно, как она двигается под кожей. Тёмные соски, дорожка волос от пупка ведущая вниз, за пояс джинсов. Я поймала себя на том, что смотрю туда дольше, чем собиралась, и что дышу чаще, чем нужно, и от этого стало противно, как будто порнуху посмотрела.

Но всё-таки я обратила внимание на сами татуировки. Чёрт, они были завораживающие. Настоящее искусство, на котором расписался сам дьявол. Или же он им и был. От шеи вниз, на грудь и плечо, змеилась колючая проволока, под ней были готические арки, шпили, кресты, целый храм, выжженный на коже, будто он носил свою веру прямо на рёбрах, наверное, чтобы бог всегда был под рукой, когда он кого-то душит. Правую руку от плеча до запястья оплетали ветви мёртвого дерева, сухие, узловатые, без единого листа, и я подумала, что это очень символично для человека, у которого в душе явно что-то сдохло. А на левом боку, чистом от узоров, прямо по рёбрам, аккуратным почерком были выбиты имена. Родриго, Майкл, Зейн, Рене, Дерек. Пять имён, ровно, как список покупок в супермаркете. Или как список тех, кто уже не встанет. Я хмыкнула про себя: интересно, он вычёркивает их, когда они умирают, или, наоборот, добавляет новые, когда ему становится скучно?

Затем я подняла голову и взглянула ему в глаза. Он безусловно пугал, но больше всего пугали именно глаза. Чёрные, глубоко посаженные, они прошлись по мне сверху вниз, и я почувствовала, как под этим взглядом становлюсь меньше, будто он уже отрезал от меня всё лишнее и оставил только то, что можно использовать.

Я сделала шаг назад, но он это действие быстро исправил. Схватил меня за окровавленную майку и притянул к себе так, что я уткнулась носом ему в грудь. И тут я обратила внимание на его запястье, на клеймо: 88. Оно было чёткое, старое, с цифрами, которые впились в кожу так, будто их выжигали не один раз.

— Ты че, псих? — вырвалось у меня. — Отпусти.

Он не отпустил. Наоборот, притянул меня так, что я уткнулась носом в его грудь, а губы невольно прижались к ней — почти поцелуй, которого я не выбирала.

Вдохнул у меня в волосах — шумно, медленно, будто пробовал. Затем провёл носом по шее, задержался за ухом, и я увидела, как этот мудак улыбается.

— Кровью пахнешь, — проговорил он тихо, почти довольно. — Вкусно. Прямо слюни текут.

— Ты ебанутый, — сказала я и уперлась ладонями ему в грудь.

Он не двинулся. Только ухмыльнулся, и ухмылка была не злая, а какая-то довольная, словно я его развлекала. Перехватил мои запястья одной рукой, сжал так, что кости хрустнули, и поднял мои руки над головой, прижав к стене. Я дёрнулась — бесполезно. Он держал крепко, но не грубо, будто давал мне почувствовать, что могу дёргаться сколько угодно, и это ничего не изменит.

— Вот так, — проговорил он, глядя мне в глаза. — Дёргайся. Мне нравится, когда дёргаются. — Он наклонился ближе, почти к самому лицу, и я почувствовала его дыхание на губах. — Давай. Покажи, какая ты злая.

Я молчала. Ровно минуту — я знала, что минуту, потому что считала про себя, чтобы не закричать. Краснела от злости, чувствовала, как жар поднимается от шеи к щекам. Он тоже молчал. Смотрел, думал о чём-то своём.

Он прервал его первым:

— Знаешь… ты мне подходишь.

— Для чего?

— Будешь моей.

Я рассмеялась. Внутри поднимался всё больше и больше истерический смех, тот самый, когда уже не знаешь, плакать или ржать.

— Ага щас… разбежалась.

Обиделся ли он? Он обрадовался. Я увидела, как у него дёрнулся уголок рта, как расширились зрачки, и поняла: он ждал этого.

— Вот, — проговорил он, и голос стал ниже, тише, с хрипотцой. — Вот это я люблю. Не «да», не скулёж, а вот это. — Он свободной рукой взял меня за подбородок, повернул лицо к свету. — Сопротивление. Настоящее. Не наигранное. Ты сейчас думаешь, как бы меня убить, да? — Он ухмыльнулся. — Думай. Мне нравится, когда думают. Особенно когда думают, а сделать ничего не могут.

Он отпустил мои запястья, но не отступил. Положил ладонь мне на грудь, плоско, всей рукой, поверх майки. Не сжал, просто положил так, чтобы я почувствовала вес, тепло и то, как под его ладонью сердце бьётся чаще, чем я хочу. Всё это время он смотрел мне в глаза, пока держал.

— Смотри-ка, — проговорил он. — Уже не такая дерзкая. Дышишь чаще. Зрачки плывут. — Он наклонился ближе, и я почувствовала его дыхание на губах. — Знаешь, я люблю, когда человек говорит одно, а тело говорит другое. Тело не врёт. Тело всегда хочет того, чего хочет, и ему насрать, что ты там себе придумала.

Я дёрнулась. Он засмеялся — негромко, но так, что у меня по спине поползли мурашки. Даже смех у него был дьявольским: не громкий, не злой, а такой, словно он смаковал мою реакцию, как смакуют чужую боль, — медленно, с удовольствием.

— Не дёргайся, — бросил он.

Он убрал ладонь с груди и в тот же момент взял меня за запястье. Повернул руку ладонью вверх, посмотрел на костяшки — разбитые, в запёкшейся крови, — и провёл по ним большим пальцем. Я почувствовала, как под его пальцем открывается свежая трещина, как выступает кровь, и дёрнула руку. Он не отпустил. Наоборот, поднёс мою руку к лицу и лизнул. Просто взял и провёл языком по костяшкам, собирая кровь.

Меня передёрнуло — но не от отвращения, а от того, что он, блять, творит. Поехавший кукухой психопад. Взял и лизнул мою кровь с костяшек. Просто так.

— Сладкая, — проговорил он, облизнувшись. — Ты не просто убила. Ты старалась. Долго. С наслаждением. — Он поднял глаза. — Я такие руки узнаю. У меня такие же.

— Поздравляю, хочешь медальку?

— Хочу тебя. В камере. Сегодня.

— Пошел к чёрту!

Секунда, и между нами не было ничего. Он взял меня за горло и сжал. Не сильно. Ровно настолько, чтобы я почувствовала, как воздух перестаёт проходить, как в ушах начинает шуметь, как перед глазами плывут пятна. Я не дёрнулась, не попыталась убрать его руку. Я замерла, смотрела ему в глаза и улыбалась.

— Давай, — прошептала я, или попыталась прошептать. — Давай, покажи, что ты умеешь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.